

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

*И. Н. Сухих*

---



# ЛИТЕРАТУРА

---



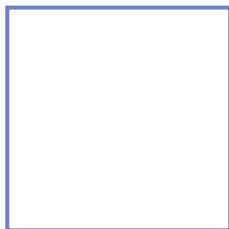
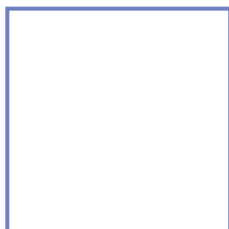
*учебник для 10 класса  
(базовый уровень)*

В двух частях

Часть 1

Рекомендовано  
Министерством образования  
и науки Российской Федерации

7-е издание



  
**ACADEMIA**  
Москва  
Издательский  
центр «Академия»  
2013

  
Филологический  
факультет СПбГУ  
2013

УДК 372.882.09.046.14я721  
ББК 74.268.3(075)  
С912

Дизайн:  
К.А. Крюков

**Сухих И. Н.**

С912 Литература : учебник для 10 класса : среднее (полное) общее образование (базовый уровень) : в 2 ч. Ч. 1 / И. Н. Сухих. — 7-е изд. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 240 с.  
ISBN 978-5-7695-9628-5

Учебник соответствует программе И. Н. Сухих и Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования. Он может быть использован практически в любом учебном комплекте по литературе. Вводные разделы дают целостное культурно-историческое представление о развитии русской словесности XIX в. Главы о писателях строятся как драматические очерки, эссе. Разборы конкретных произведений отражают многообразие их проблематики и поэтики. Вопросы и задания различной степени сложности предполагают разные способы работы и серьезно расширяют культурный контекст.

Для учащихся 10 классов, изучающих предмет на базовом уровне.

УДК 372.882.09.046.14я721  
ББК 74.268.3(075)

*Оригинал-макет данного издания является собственностью Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом без согласия правообладателя запрещается*

ISBN 978-5-7695-9628-5 (Ч. 1)  
ISBN 978-5-7695-9629-2

© Сухих И. Н., 2008  
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2008  
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2008

## Литература: зачем и для кого?

---

Философы придумали много как серьезных, научных, так и шуточных, остроумных определений человека.

«Человек — двуногое животное, но без перьев», — утверждал Сократ.

«Человек — общественное, политическое животное», — возражал Аристотель.

Человека называли существом *созидательным, деятельным, свободным, священным, играющим, поэтическим*.

Самым распространенным определением стало homo sapiens — *человек разумный*.

Но это разумное существо в течение тысячелетий невозможно представить еще без одного свойства. Разумный человек, как правило — homo legens, *человек читающий*.

Процесс чтения возводится в ранг важнейшей человеческой потребности наряду с разумом, деятельностью, общением.

Что же читает *разумное, поэтическое животное*? Как правило — книгу. Конкретная форма ее существования — глиняные таблички, папирусный свиток, особым образом сложенная и помещенная под переплет бумага или недавнее изобретение, экран компьютера, тоже напоминающий древний свиток, — не так уж и важна.

Разнообразных определений книги во много раз больше, чем определений человека: об этом позаботились писатели разных времен и народов.

Портрет эпохи, память человечества, учебник жизни, источник знаний, зеркало на большой дороге, пейзаж на столе, собеседник, дитя разума, кусок дымящейся совести, тело мысли, машина времени...

Есть много книг, заполненных похвалами книге и чтению. По ним можно легко пополнить этот ряд. Но подобные определения интереснее не продолжать, а классифицировать.

Всматриваясь в определения книги, можно заметить, что они разделяются на три группы, даются с трех разных точек зрения:

с точки зрения *автора*, создателя книги (книга — тело его мысли, дитя разума, портрет души, кусок дымящейся совести);

с точки зрения *текста*, книги самой по себе (с этой точки зрения она — пейзаж на столе, зеркало, запечатленное время или память человечества);

с точки зрения *читателя* (для него книга — собеседник, машина времени, учебник жизни или источник знаний).

Таким образом, всмотревшись не в конкретное содержание книги, но в ее функцию, мы увидим не текст, но — *процесс*. В человеческой культуре книга включена в процесс эстетического общения (коммуникации), представляет средний элемент *коммуникативной цепочки*:

**Автор (Писатель) — Книга (Произведение) — Реципиент (Читатель).**

Книга обязательно предполагает читателя, рассчитывает на него.

Такого читателя поэт О. Э. Мандельштам называл *провиденциальным собеседником*, другой поэт, М. И. Цветаева, — *абсолютным читателем*, прозаик А. Н. Толстой — *составной частью искусства*.

Критик Ю. И. Айхенвальд (и не он один) предложил целую программу читательской деятельности, где роль читателя оказывается не менее важной, чем роль автора, творца:

«Читать — это значит писать. Отраженно, ослаблено, в иной потенции, но мы пишем “Евгения Онегина”, когда “Евгения Онегина” читаем. Если читатель сам в душе не художник, он в своем авторе ничего не поймет. <...> К счастью, потенциально мы все поэты. И только потому возможна литература» («*Силуэты русских писателей*»).

Однако такой — идеальный — читатель, собеседник, соавтор художника, в реальности существует не всегда. Таким читателем нельзя родиться. Им можно только стать.

Разные книги читают с разными целями. Чтение, как выразился один философ, — это «труд и творчество».

В книге можно искать какие-то факты, конкретную информацию. Часто чтение книги — отдых, способ отвлечься от собственных проблем. Но книга, напротив, может стать помощником в решении проблем, духовным ориентиром, частью собственной жизни.

Поэтому (если говорить о художественной литературе с ее особым, специфическим языком) человек учится читать дважды: сначала на родном или каком-то ином языке, потом на языке искусства. Если первое чтение мы обычно ос-

ваиваем в первом классе или еще раньше, то второе чтение в принципе бесконечно совпадает со временем человеческой жизни.

«Добрые люди не знают, как много времени и труда необходимо, чтобы научиться читать, — иронически заметил в конце жизни И. В. Гёте. — Я затратил на это восемьдесят лет жизни и все еще не могу сказать, что достиг цели».

Оказаться в позиции такого читателя непросто, но для этого вовсе не обязательно быть Гёте.

Книге в ее современном виде около шестисот лет. Долгое время она считалась двигателем прогресса, высшим достижением культуры. «Типографским снарядом» называл книгу Пушкин. Однако к середине двадцатого века положение стремительно изменилось. В сфере культуры агрессивно утвердились так называемые *аудиовизуальные средства общения*, основанные не на слове, а на «картинке» (кино, телевидение, компьютерные технологии). Некоторые ученые провозгласили конец книжной «галактики Гуттенберга» и наступление новой «зрелищной» эпохи, превращающей весь мир в большую электронную деревню.

В конце 1950-х годов американский писатель Р. Брэдбери написал мрачную антиутопию «451° по Фаренгейту». Люди в этом обществе сидят запертыми в огромных телевизионных комнатах, уставившись в экран. А пожарные занимаются тем, что сжигают дома тех обитателей, которые еще пытаются хранить и читать книги. Но в борьбе с этим насилием возникает сопротивление. Сторонники прежней культуры бегут из телевизионного города и сами становятся живыми книгами, надеясь на будущее возрождение:

«Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пэйн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах, — признается один из персонажей романа. — Мы лишь обложки книг, предохраняющие их от порчи и пыли, ничего больше. <...> А когда война кончится, тогда в один прекрасный день, в один прекрасный год книги снова можно будет написать; созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы это напечатаем на бумаге».

Эта мрачная антиутопия Брэдбери в полном объеме, к счастью, не осуществилась, хотя книги преследовали и

уничтожали в разных странах: в гитлеровской Германии, сталинском СССР, Китае и Кампучии.

Но книга в современной культуре, действительно, находится в сложном положении. Конфликт *слова* и *картинки* приобретает очень острые формы, и способы его разрешения скрыты во мгле будущего.

Одна из последних замечательных речей в защиту книги принадлежит русскому поэту. В 1987 году, получая Нобелевскую премию по литературе, самую почетную для писателя награду, И. А. Бродский почти всю свою Нобелевскую лекцию посвятил апологии книги.

«В истории нашего вида, в истории “сапиенса”, книга — феномен антропологический, аналогичный по сути изобретению колеса. Возникшая для того, чтоб дать нам представление не столько о наших истоках, сколько о том, на что “сапиенс” этот способен, книга является средством перемещения в пространстве опыта со скоростью переворачиваемой страницы».

«В отличие от восприятия всех других видов искусства, чтение — занятие глубоко индивидуальное и творческое», — утверждает Бродский. Оно формирует человека не только эстетически, но и нравственно, развивает и поднимает его, хотя и не делает более счастливым.

«Произведение искусства — литература в особенности и стихотворение в частности — обращается к человеку тет-а-тет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения. <...> В качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение — не монолог, но разговор писателя с читателем». «Чем богаче эстетический опыт индивидуума, чем тверже его вкус, тем четче его нравственный выбор, тем он свободнее — хотя, возможно, и не счастливее».

Даже политический выбор Бродский предлагает делать по литературным признакам:

«Мне думается, что потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому. <...> Скажу только, что — не по опыту, увы, а только теоретически — я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего».

Однажды Бродский словно возражает Брэдбери:

«...Ни один уголовный кодекс не предусматривает наказаний за преступление против литературы. И среди преступлений этих наиболее тяжким является не преследование авторов, не цензурные ограничения и т. п., не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое — пренебрежение книгами, их нечтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же преступление это совершает нация — она платит за это своей историей».

Лучшее, самое светлое в нашей истории — это литература и культура.

Золотой век в русской литературе *был*, а в русской истории его, кажется, не было.

Русская литература, особенно XIX века, — одно из высших достижений мировой культуры. Важная часть «памяти человечества», к счастью, существует на русском языке.

Но читать по программе все-таки не то же самое, что читать просто для себя. Русскую классику, которая является основой школьного курса литературы, иногда считают скучной, неинтересной, устарелой. Кто-то может спросить: зачем, к чему я должен (должна) читать то, что написано много лет назад и рекомендовано какими-то неизвестными людьми?

Но этот отбор проведен не нами, он произведен историей. Пушкина и Гоголя читают почти двести лет и будут читать еще через двести, когда никто не вспомнит современных модных авторов. Неужели нам неинтересно понять, почему?

Настоящая литература учит самым простым и одновременно самым сложным вещам: видеть мир, ценить воображение и понимать человека.

Век как эпоха:  
календарь и история

«Лицом к лицу / Лица не  
увидать. / Большое видится  
на расстояньи».

Поэтическое наблюдение Сергея Есенина имеет отношение и к истории. Историческая дистанция оказывает огромное влияние на наше понимание событий. В истории тоже есть свои «близь» и «даль».

В ближней к нашему времени истории обычно присутствует множество имен и событий. Такими сиюминутными «событиями» переполнена любая газета или телевизионная передача. Они теснятся, мельтешат, среди них трудно выделить главные и второстепенные, смысл многих кажется непонятным и, бывает, выясняется лишь через много лет.

При взгляде в далекое прошлое действует принцип перевернутого бинокля: событий и людей становится немного, они уже не теснятся, а свободно располагаются во времени, а смысл их представляется более ясным.

Девятнадцатый век совсем недавно из прошлого стал позапрошлым. Его границы, внутренний смысл, логику мы уже можем «предсказать», представить, описать достаточно четко (чего пока нельзя сказать о веке двадцатом, особенно его последних десятилетиях). На таком расстоянии видны не только его противоречия, конфликты, разломы, но и внутреннее единство, целостность.

При этом важно помнить, что счет «по векам», острое осознание их границ не столь уж давнее изобретение. В конце двадцатого века много спорили о его границе и — на всякий случай — широко отмечали начало века нового дважды: в 1999 и 2000 годах. Люди рубежа девятнадцатого и двадцатого веков относились к этой границе много спокойнее. А границу восемнадцатого и девятнадцатого столетий остро сознавали лишь немногие философы и писатели.

Оглядываясь назад, исследователи, историки измеряют время не столько веками, сколько *историческими эпохами* (хотя их омонимически тоже часто называют веками).

Календарные века и исторические эпохи чаще всего не совпадают. *Исторический век* может быть короче или длиннее столетия. Так произошло и с русским девятнадцатым веком.



благодаря французским философам-просветителям, называли веком разума. Историки определяют его как век Просвещения.

Пафосом этого века становится борьба с накопившимися за тысячелетия человеческой истории «предрассудками»: освобождение личности от власти религии и церкви, от абсолютизма, от устаревших канонов обыденной жизни, семейной и частной.

«Человек по природе добр», — утверждал Ж. Ж. Руссо. «Свобода, равенство, братство» — таков был главный лозунг французского Просвещения, подхваченный по всей Европе, в том числе и в России.

Но первый решительный порыв к свободе под просветительскими лозунгами — Великая французская революция 1789 — 1894 годов — обернулся гильотиной, на которой казнили не только свергнутого короля Людовика XVI и его жену Марию Антуанетту, но и многих революционеров. Выходом из гражданских междоусобиц стало воцарение Наполеона (1796). Французская революция стала концом века Просвещения и началом новой эпохи.

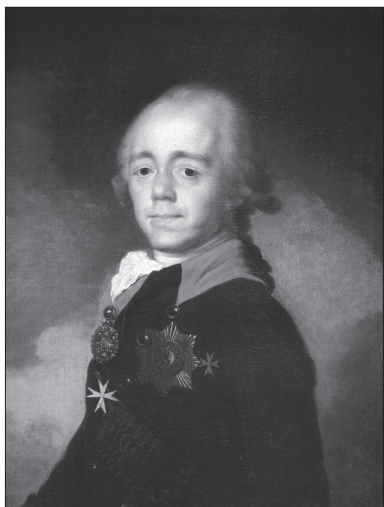
В России с ее собственной самодержавной властью века или эпохи обычно сменялись вместе с императорами, хотя содержание эпох, конечно, разнообразно и обозначается именем царя несколько условно.

Начавшись с Петровских реформ, с грандиозной перестройки всей исторической жизни России, XVIII век заканчивался царствованием «романтического императора» Павла I, чудака и сумасброда, за пять лет восстановившего против себя бóльшую часть русского общества, включая собственного сына.

Ход дел и мыслей в Европе и России конца XVIII века был общим: от небывалых надежд — к разочарованию, от оптимизма — к скептицизму и даже безнадежному пессимизму.

Итоги истекающего века успевают подвести два крупнейших русских писателя XVIII века.

А. Н. Радищев, автор тираноборческого «Путешествия из Петербурга в Москву», приговоренный за свою книгу к смертной казни, отправленный в ссылку Екатериной II и возвращенный из нее Павлом I, перед своим самоубийством успел написать оду «Осьмнадцатое столетие» (1801 — 1802):



В.Л.Боровиковский.  
Портрет Павла I.  
Конец 1790-х —  
начало 1800-х

Счастье и добродетель, и вольность  
пожрал омут ярый,  
Зри, всплывают еще страшны  
обломки в струе.  
Нет, ты не будешь забвенно, столетье  
безумно и мудро,  
Будешь проклято вовек, в век  
удивлением всех,  
Крови — в твоей колыбели,  
припевание — громы сраженьев,  
Ах, омоченно в крови ты ниспадаешь  
во гроб!

Н. М. Карамзин, автор сентиментальной «Бедной Лизы», тоже оглядывался на уходящее столетие с горечью и отчаянием:

«Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества и думали, что в нем последует важное, общее соединение теории с практикою, умозрения с деятельностью, что люди, уверясь нравственным образом в изящности законов чистого разума, начнут исполнять их во всей точности и под сению мира, в крове тишины и спокойствия, насладятся истинными благами жизни. <...> Где теперь сия утешительная система?.. Она разрушилась в своем основании!» («Мелодор к Филалету», 1794).

Свои надежды Карамзин возлагал теперь на новое столетие. «Девятый-надесять век! Сколько в тебе откроется такого, что теперь считается тайною!» — восклицает он в августе 1789 года во время путешествия по Европе («Письма русского путешественника», 1792).

26 мая (6 июня) 1799 года, в самом конце обманувшего надежды многих века, рождается человек, определивший будущее русской литературы на два столетия вперед.

«На явление Петра русская культура ответила явлением Пушкина», — скажет А. И. Герцен.

«Это русский человек в его развитии, каким он будет через двести лет», — словно продолжит Н. В. Гоголь.

Но наступающая эпоха пока не подозревает, что она окажется пушкинской.

## Александровская эпоха: надежды и разочарования

Культурное рождение нового века в России почти совпало с календарем. 12 марта 1801 года в Петербурге сообщили о внезапной смерти императора Павла и восшествии на престол его сына Александра I. На улицах поздравляли друг друга с тем, что «миновали мрачные ужасы зимы». Радость была столь велика, что к вечеру, как вспоминали современники, в петербургских лавках не осталось шампанского.

На самом деле смерть прежнего императора была насильственной. Цареубийство в Михайловском замке и дворцовый переворот произошли с ведома нового императора. «Девятый-надесять век» тоже начинался с крови и тайны.

Тем не менее надежды на изменения были сильнее сожалений об ушедшем. Хвалы новому императору раздавались несколько лет и со всех сторон.

«Век новый! Царь молодой, прекрасный...» — воскликнет Г. Р. Державин в оде «На восшествие на престол императора Александра I» (1801).

«Дней Александровых прекрасное начало...» — словно подхватит А. С. Пушкин в стихотворении «Послание цензору» (1822).

А его друг и поэтический соратник П. А. Вяземский рисует картину лучезарного будущего Александровской эпохи:

К престолу истина пробьет отважный ход.  
И просвещение взаимной пользы цепью  
Тесней соединит владыку и народ.  
Присутствую мечтой торжеств великолепью,  
Свободный гражданин свободныя земли!  
О царь! судьбы своей призванию внемли.  
И Александров век светилом незакатным  
Торжественно взойдет на русский небосклон...

(«Петербург», 1818)

С царствованием Александра современники связывали надежды на реформы. Наиболее смелые грезили об освобождении крестьян и утверждении демократических институтов, похожих на европейские.

Эти надежды постепенно исчезли, но благодаря им русское общество прошло самое главное в девятнадцатом веке



С. С. Жукин. Портрет  
Александра I. 1809

испытание. Нашествие Наполеона на короткое историческое время объединило Россию. «Мысль народная», ставшая главной в толстовской эпопее «Война и мир», в начале XIX века была исторической реальностью. Активную историческую роль в Отечественной войне сыграло третье «непоротое», свободное дворянское поколение, родившееся после Петровских реформ\*. Молодые офицеры и генералы выдержали Бородинское и иные сражения, изгнали французов и вошли в Париж, а через несколько лет начали учить грамоте солдат и думать о благе уже мирного отечества.

Этот исторический взлет, в сущности, и породил пушкинскую эпоху, золотой век русской литературы.

Но после Отечественной войны, вершины национально-го единения, началось быстрое скольжение вниз. Император забыл о своих ранних планах, впал в мистицизм, предпочел полковым школам и просвещению военные поселения Аракчеева, где крепостных, победителей Наполеона наказывали и унижали.

Ответом на реакцию были первые тайные общества, в которых будущие декабристы строили планы будущего развития России, предлагая, между прочим, не только мирные изменения, но и царубийство.

В сохранившихся строфах так называемой «Десятой главы» «Евгения Онегина» Пушкин, который приветствовал «дней Александровых прекрасное начало», теперь напишет об императоре так:

Властитель слабый и лукавый,  
Плешивый щеголь, враг труда,  
Нечаянно пригретый славой,  
Над нами царствовал тогда.

В последних строчках намечен основной конфликт последних лет александровского царствования: «И постепенно сетью тайной Россия... Наш царь дремал...»

го царя закончилось смертью Александра в Таганроге, междоусобицей и событиями на Сенатской площади.

«На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой. Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был “большой застенок” (так говорили в эпоху Петра). <...> Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславную жизнь. <...> Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их» (Ю. Н. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара»).

Восстание декабристов 14 (25) декабря 1825 года (современники и некоторые сегодняшние историки называют его бунтом) стало очередной переломной точкой в русской истории XIX века. Русское общество в лице его лучших представителей, передовых дворян, впервые заявило о себе как о самостоятельной силе. Но оно сразу же вступило в непримиримый конфликт с государством, отвергшим все намерения честных людей по улучшению русской жизни.

Историк и писатель Юрий Тынянов в романе «Смерть Вазир-Мухтара», главным героем которого является Грибоедов, фиксирует очень важный перелом — *рождение нового человеческого типа*.

«*Люди двадцатых годов*», «отцы», рожденные эпохой общественного подъема и национального единения, были энтузиастами и практическими деятелями. «Прыгающая походка» — знак их вечного движения, нетерпения, ожидания социальных и нравственных преобразований.

«*Люди тридцатых годов*», «дети», стали нерешительными мечтателями или скучающими скептиками именно потому, что реальные возможности практического дей-

---

\* «Два поколения екатерининских дворян избавляются от отцовских и дедовских страхов... Два небитых дворянских поколения — без них Пушкин был бы не Пушкин,

и Лунин — не Лунин», — сказал историк Н. Я. Эйдельман. С петровских времен таких поколений сменилось три.



*О.Верне. Портрет Николая I.  
1842—1843*

ствия были для них закрыты. Выбирая путь карьеры, надо было жертвовать убеждениями и честью.

С Александровской эпохой окончательно ушли в прошлое времена, когда поэты искренне писали оды в день восшествия на престол, становились министрами (как Г. Р. Державин) или государственными историографами (как Н. М. Карамзин). К середине XIX века государственная служба (например, в цензуре или министерстве) стала для многих писателей уже вынужденной, противостояние государству, пусть не прямое, а духовное, — нормой. Не только катастрофический разрыв между верхами и низами, но и непримиримые противоречия внутри одного

класса или общественного слоя обычно оказываются предвестием революционных изменений.

Тридцать лет царствования Николая I были первой типичной эпохой русской истории XIX века. Она начиналась с крови и насилия. После восстания на Сенатской площади пятеро декабристов были казнены, несколько сотен отправлены в Сибирь, откуда выжившим удалось вернуться лишь после смерти императора.

Испытавший страх в дни восшествия на престол Николай пытался задушить всякое проявление свободной мысли, «подморозить» Россию, оградить ее от «заразы» идей европейского свободомыслия. Министр народного просвещения С. С. Уваров вместо французской триады «свобода, равенство, братство» выдумал свою формулу: «православие, самодержавие, народность», ставшую лозунгом официальной идеологии николаевского царствования.

В заботах о сохранении этого единства свирепствовала цензура, за малейшие провинности закрывались журналы. Многие правительственные решения вызывали ропот даже у преданных государству, служащих ему, самых благонамеренных людей.

«Истекший год вообще принес мало утешительного, — подводит в дневнике итоги профессор Петербургского уни-

верситета, цензор А. В. Никитенко 30 декабря 1830 года. — Над ним тяготел унылый дух притеснения. Многие сочинения в прозе и стихах запрещались по самым ничтожным причинам, можно сказать, даже без всяких причин, под влиянием овладевшей цензорами паники».

Дальше утешений становилось все меньше. Особенно осложнилась общественная атмосфера после европейских революций 1848 года. Последний период николаевского царствования получил у историков название *мрачное семилетие*. В это время даже дворянам был запрещен выезд за границу, к прежним цензурным придиркам добавились новые, речь шла уже не просто о притеснениях, а о политических преследованиях за самые невинные поступки. Ф. М. Достоевский, в сущности, был приговорен к смертной казни за публичное чтение письма В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю.

Парадоксально, что эпоха горьких разочарований, эпоха скептицизма одновременно была эпохой мысли и великой литературы. В Николаевскую эпоху завершилось творчество Пушкина, написали все свои произведения Лермонтов и Гоголь; под влиянием Белинского сформировалась **натуральная школа**, в рамках которой начали литературную деятельность крупнейшие авторы русского реализма второй половины XIX века.

#### Великий спор: Чаадаев и Пушкин

В 1836 году в журнале «Телескоп» публикуется «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева (1794 — 1856), блестящего гвардейского офицера, участника Отечественной войны, дошедшего до Парижа, который вдруг вышел в отставку, превратился в отшельника, потом в украшение московских салонов и вдруг выступил в роли свободного мыслителя. Мысль Чаадаева строилась на четком и резком противопоставлении русской и европейской истории.

Народы Европы, утверждал Чаадаев, «имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство», которое заключается в последовательном и неуклонном развитии цивилизации, в утверждении идей «долга, справедливости, правды, порядка». Взгляд Чаадаева на Россию был скептичен и беспощаден.

«Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух кото-





*П. Я. Чаадаев.  
Литография. 1820-е*

рого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства».

Такова в кратком чаадаевском изложении история государства Российского. Она продолжается столь же безотрадной современностью.

«В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке».

Пушкин признал точность и смелость чаадаевских оценок современности:

«Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью, и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».

Но он не согласился с Чаадаевым в главном — оценке прошлого и будущего России как государства и России как нации.

«Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, понимает-



ся), оба Ивана, великая драма, начавшаяся в Угличе\* и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели всё это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел Вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите Вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли Вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Чаадаевской беспощадности и однозначности оценок русской цивилизации Пушкин противопоставляет трезвый патриотизм и осторожную надежду. Примечательно, что поэт, словно доказывая ложность резкого противопоставления России Западу, пишет Чаадаеву по-французски в знаменательный лицейский день 19 октября 1836 года.

В оценке современной социально-политической ситуации в России прав, однако, оказался скептик. Ответом на горькие размышления Чаадаева было государственное преследование. После публикации «Философического письма» он был официально объявлен сумасшедшим и лишен возможности публиковать свои литературные труды. Узнав о постигших бывшего наставника и оппонента репрессиях, Пушкин свое письмо так и не отослал.

«Письмо Чаадаева, — напишет потом Аполлон Григорьев, — было тою перчаткою, которая разъединила два до того если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые *неотвлеченно* был поднят вопрос о значении нашей народности, самости, особенности...» («Народность и литература», 1861).

\* Пушкин говорит о событиях Смутного времени. В Угличе 15 мая 1591 года при неясных обстоятельствах погиб сын Ивана Грозного царевич Дмитрий. Это и стало началом смуты. Кризис власти был преодолен

лишь в марте 1613 года, когда в костромском Ипатьевском монастыре Михаил Федорович Романов согласился с избранием его на престол. Так началось трехсотлетнее правление династии Романовых.

В сороковые годы полемику о России и Западе, сравнительных достоинствах и недостатках их истории и современного государственного и общественного устройства продолжают *западники* и *славянофилы*. Споры между этими идеологическими лагерями определили дальнейшее развитие русской мысли и многообразно отразились в русской литературе.

Чаадаев и Пушкин начали великий — до сих пор не оконченный — спор о судьбе России, ее месте в культурном человечестве.

---

**Девятнадцатый век:  
поиски исторического смысла**

Восемнадцатый век, как мы помним, считал себя «веком

Просвещения». Поиски формулы наступившего века начались довольно рано.

Поэтическое определение одним из первых предложил поэт пушкинской эпохи Е. А. Баратынский в стихотворении «Последний поэт» (1835):

Век шествует путем своим железным,  
В сердцах корысть, и общая мечта  
Час от часу насущным и полезным  
Отчетливей, бесстыдней занята.  
Исчезнули при свете просвещенья  
Поэзии ребяческие сны,  
И не о ней хлопочут поколенья,  
Промышленным заботам преданы.

Определения практического, промышленного характера наступившего столетия стали привычными. Их, как общее мнение, часто повторяют не только авторы, но и герои многих произведений русской литературы.

«...Наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира» (Н. В. Гоголь. «Портрет»).

«...В наш век реформ и компанейских инициатив, век национальности и сотен миллионов, вывозимых каждый год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук...» (Ф. М. Достоевский. «Идиот»).

«Все эти кислые толки о добродетели глупы уж тем, что непрактичны. Нынче век практический» (А. Н. Островский. «Бешеные деньги»).

Технический прогресс, пусть пока и не очень заметный в России, вел к важным социальным последствиям. Роль науки, знания резко увеличивалась. Следовательно, уменьшалась прежняя роль религии в человеческой жизни. Теряя религиозную веру, человек чувствовал себя одиноким перед внезапно возникшей пустотой. Значит, возрастала роль самостоятельного размышления и поиска идеалов. Лирический герой Тютчева, герои Тургенева и Достоевского постоянно будут сталкиваться с этими проблемами.

Разнообразие идеалов и философских поисков провоцировало новые социальные и психологические конфликты. Человеческая жизнь словно ускорилась и расслоилась. Люди в гораздо большей степени, чем раньше, потеряли общий язык, перестали понимать друг друга.

Об этом еще в Николаевскую эпоху успели одновременно подумать славянофил И. В. Киреевский и западник А. И. Герцен.

«Внизу и сверху разные календари. Наверху XIX век, а внизу разве XV...» — заметил А. И. Герцен в книге «Былое и думы», сравнивая жизнь своего, дворянского, круга и существование простонародья. В другом месте «Былого и дум» он применил эту мысль уже к себе и к людям своего круга: «Человек, проживший лет пятьдесят, схоронил целый мир, даже два...»

Сходную мысль развивает И. В. Киреевский в статье с обобщающим заглавием «Девятнадцатый век» (1832).

«Прежде характер времени едва чувствительно переменялся с переменою поколений; наше время для одного поколения меняло характер свой уже несколько раз, и можно сказать, что те из моих читателей, которые видели полвека, видели несколько веков, пробежавших пред ними во всей полноте своего развития.

**Западники и славянофилы** — два главных общественных лагеря в русской культуре 1840—1850-х годов. Западники (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин) рассматривали Россию как часть мировой цивилизации и выступали за утверждение в ней европейских ценностей. Славянофилы (их идеи

в большей или меньшей степени разделяли Ф. И. Тютчев, А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский) считали, что Россия развивается по особому, отличному от европейского, пути. Самобытность России славянофилы видели в отсутствие социальных конфликтов, крестьянской общине, православии как единственно истинной религии.

<...> Взгляните на европейское общество нашего времени: не разнотелные мнения одного века найдете вы в нем, нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько разнородные между собою. Подле человека старого времени найдете вы человека, образованного духом французской революции; там человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, последовавшими непосредственно за французской революцией; с ним рядом человека, проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле Европы с падением Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека последнего времени, и каждый будет иметь свою особенную физиономию, каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах жизни — одним словом, каждый явится пред вами отпечатком особого века».

В девятнадцатом столетии несколько веков, образов жизни стали тесниться, сосуществовать друг с другом в одной семье, сталкиваться в светском салоне, студенческой аудитории или редакции журнала. Конфликты «отцов» и «детей», «старых» и «новых» людей, людей сороковых и шестидесятих годов, западников и славянофилов, революционеров и либералов, классиков и романтиков, романтиков и реалистов определили как общественную и частную жизнь, так и своеобразие многих произведений русской литературы XIX века.

---

**Шестидесятые годы:  
взлет и срыв великих реформ**

Смерть императора Николая I в феврале 1855 года многими современниками была воспринята как облегчение, конец эпохи лжи и подавления свободной мысли, открытие перспективы будущего. Император умирал красиво, по-античному: на железной походной кровати в Зимнем дворце, покрытой простой шинелью. Но фоном этой смерти было очередное поражение русских войск в Крыму (несчастной для России Крымской войне посвящены севастопольские очерки Л. Н. Толстого) и всеобщая усталость от изживающей себя крепостнической системы (преобразования в ней собирався произвести еще Александр I в начале своего царствования).

Умершего царя мало кто пожалел. Люди противоположных убеждений думали и чувствовали сходно.